

# ПЯТЬ ЛЕТ В ГОДА НАШЕЙ ЖИЗНИ

## Опыт исповедальной самокритики критика театра и кино

Валерий ТУРОВСКИЙ



ВРЕМЯ, о котором мечтал и я, и многие мои коллеги, застало нас врассыпку. «Ах, если бы об этом много было написано» — часто вздыхали мы. «Да разве об этом дадут написать?» — говорили мы. «Что же позволит это напечатать?» — сокрушались мы.

И все эти годы мы ждали и надеялись, что придет, рано или поздно, время, когда будет можно, когда дадут и позволят.

Даже самые дерзкие мечтания моих старших и младших коллег не могут выдержать сравнения с тем, что мы теперь имеем, чем можем, наконец, владеть и чем владеть робеем. Мы долго ждали этого часа, а дожидаться... затруднились.

Впрочем, за последние 5 лет. Снесириваемым изумлением прочитал я недавно на страницах уважаемой газеты эглектические откровения местного кинокртика, призывающего братьев своих младших как можно быстрее перестроиться. Как он ни оудет на провал, как мыны его сердцу — уму сегодняшняя позитивная сдвиги, как он философски поучает и поучает нас, замешкавшихся, не успевших перестроиться.

Завсегдатайские, что и говорить, чтение, особенно если не знать, что кем-нибудь из мастеров киноиздания это критик — единственный на всю страну — громогласным голосом поучал Романа Баласа, какой, в сущности, вредный для народа фильм «Платоны во сне и наяву».

Вот это перестройка! За таким словом скрывается, как правило, не зомствя. А хочется, наоборот, все взвесить, все взвесить и подумать. А думать — больно. Очень больно.

Мое поколение критиков — поколение вышедших сорельников — именно в годы, когда совсем недавно было провозглашено свое позитивное восхождение продох фильмом или спектаклем. Можно было отомчалось, отосиделся и с интересом понаблюдать, как болте опытные товарищи из последних сил пытаются в искусство оверядную многообразную жизнь. Мы не называли черное белым, а белое — черным и очень гордились своей принципиальностью и непопустимостью. Но мы и безбожно избегали называть белым, а черное — черным, предпочитая нечто черное-белое, а попросту — серое. Мы охотно избирали себя от необходимости оценивать по достоинству. Мы прибегали к услугам нейтральных тонов и красок, не догадываясь еще о том, что тем самым нейтральным и нивелируемым саму нашу профессию. Критика перестала быть критикой.

Мы отменяли язык намеков и достигли в этом такого головокружительного мастерства, что язык Эзопа нам стал роднее и ближе языка Пушкина. Без мим и пятаков, замолженных в наши рецензии и обзоры, нам уже неинтересно было писать. Мы приняли условия игры, в которой и бывал Александр Буварского «Борис...» — заготовлю «вдруг помечтал». А прежде чем что-либо сказать — подумай. А думать — больно. Очень больно.

Например, о том, почему отказались от рецензии на появившуюся недавно фильм «Борис Годунов» и «Лермонтов». Ну, о первом, из-за мимов и жоревому пенни: разве что самые дивные критики не дали себе труда порываться на эти критики. Во-вторых, выступать в роли маленькой собачки, которая кусает трут не ею убитого льва, — попусту!

А в-третьих, если в свое время тебе не хватило духа сказать талантливым актерам Сергею Бондар-

чуку и Николаю Буравлеву, что режиссура — это другая профессия, и некое актерский талант разменивать на режиссерскую посредственности, то уж теперь, задним числом, провозгласи чудеса героизма! Само вину, которую «Борис Годунов» и «Лермонтов» вправе разделить с критикой, которая молчала, когда нужно было криком кричать, и заговорил, когда криком, что теперя-то уж можно, теперя-то уж не страшно...

В пьесе Михаила Ромина «Седьмой подвиг Геракла», благополучно проважешая в столе драматурга двадцать лет и еще три года и только сейчас напечатанная в журнале «Театр», один персонаж признается: «...нет ничего тяжелее, когда жизнь прожита с одним, а оправдываться приходится перед другими...»

А оправдываться, видимо, придется. Хотя бы в том, почему я за свое почти двадцатилетнюю работу в журналистике и критике так низко толком и не сумел помочь. И думать об этом не просто больно, а мучительно больно.

Почему я не сумел помочь челябинскому ансамблю «Ариэль», почему я не сумел помочь заперской художнице Наталье Коробовой, почему я не сумел помочь режиссеру из Благовещенска Вячеславу Кокорину... Да потому, что не успевал в вернуться из командировок, как в моих реценциях, где я поочередно служил, меня ждал съестисабельно сформулированный вопрос: «Ты что, забыл, как космополитический ансамбль в Челябинске? Или — тебе напомнить, что в трудные послевоенные годы поднимал Днепростр?

«Бред», — скажете вы, — какое это могло иметь отношение к искусству, к конкретным людям, нуждавшимся в помощи и признании.»

Но в том-то вся и беда, что мало кто интересовался конкретные люди и никто не горюпился озвучивать конкретную помощь. Во главу угла ставился лишь один — ценностический! — фактор: где прожил наш «данный» в помощи человек. И если прожил он на родине героя, то горе ему, и никто не виноват.

«Да, бред», — согласусь я, но именно этот бред формировал наши души и характеры. Мы постепенно привыкали к этому бреду, он становился аномальной нормой жизни, и мы уже знали, что бывает и чудное горе, знали, что если чей-то вольф разделяется со стороны Украины или Узбекистана, с Малой землей или из большого театра, то пусть лучше не разделяется: чего вопить, попусту!

Но до сих пор не сразу понял я эту архаичность архаично асидывалось, срывался вслед за письмом, которое вело о дороге, а потом, раз-другой-десять ударившись о чиновничьи столы, понял, что и дело, не сделало, и лицо не сбегало. Но тогда еще не понимал, что смирею себя — это и есть потеря лица, и иркуа уже не подчинялась мозгу: слухалась «Челюбкина», а писелось в некотором царстве.

Да в том же опыте показал, что эти стилистические увлочки тоже недорого стоят. Все как-то само собой обрывается после людей, которым я искренне хотел, но не умел помочь. Радуется душа за ансамбль «Ариэль», имя которого

сейчас известно всей стране. После многих лет выгнать Вячеслава Кокорина возглавил Иркутский ТЮЗ, создал ему славу одного из самых интересных театров для юношества. Почти пятнадцать лет понаблюдая Наталью Коробову, чтобы доказать аксиому: театр по-настоящему талантлив только в Союзе художников. Но мое участие в судьбах этих людей оказалось почти призрачным.

Это не жалобы на тяжелую юность, не попытки покаяться в грехах, часть из которых тут же попытались свалить на время, общество и обстоятельства. Любое время и любое общество ломают только тех, кто дает себя сломать. И чего уж тут распят?

Многих из нас это время не сломаю, но согнуло. И то знает, может, фигура согнутого, собиравшего критика, в глазах которого искрится прирпное исцелство к начальству, а в руках вместо критической статьи очередной одический ситюк, — может, эта фигура выглядела еще страшнее и уродливее! Эти заметки, впрочем, не жалоба — скорей попытка бьхнаться и объясниться, какой это трудный, болезненный и мучительный процесс — перестройка. Перестройка индивидуальна. В перестройку нельзя бежать стройными колоннами, показывая результаты на время. Перестройка — это путь, путь и суверенитет. Именно суета и суверенитет вокруг перестройки и насостает ей ошутным урою.

Меня поражает та легкость и готовность, с какой апорнуили в перестройку именно те, кто и до нее жил прилично. Сделавшие наивную перестройку очень быстро открыли простую вещь: надо просто повторять, как в прекрасные былые времена, что план по перестройке перевыполнен в кратчайшие сроки и наименьшими затратами. (Затраты нравственных мучений и исканий, с которыми ярылся добавили мы.) Надо дать цифру, что перестройкой озвачено свыше 120% населения района, что произошла она сверху донизу и справа налево, что несознательные кланят себя последними словами и просят извинения, что восторг и восторг, а лесу нас на большой дороге. Это очень просто, все, как всегда. Как раньше они репортовали о сделанном, еще не зная, что нужно было сделать, так и теперь они, затеряв лютю-десяток обиходных режий, уже оказываются впереди прогресса.

Комьюнтаризация, они и эту шау перестройку восприняли как ноу-комьюнтаризацию. Раньше получали тех, кто смел идти вперед, теперь получают тех, кто смел поостатеть.

Раньше прилагали титанические усилия для того, чтобы восторгались все, как один, теперя горюют, что все театры не одно лицо. Раньше гонели гноили фильмами на полках, теперь первыми бросаются писать на эти фильмы злобные рецензии.

А на ровном скам, случись что, заварил и эту, чтобы восторгались все, как один, теперя горюют, что все театры не одно лицо. Раньше гонели гноили фильмами на полках, теперь первыми бросаются писать на эти фильмы злобные рецензии.

А на ровном скам, случись что, заварил и эту, чтобы восторгались все, как один, теперя горюют, что все театры не одно лицо. Раньше гонели гноили фильмами на полках, теперь первыми бросаются писать на эти фильмы злобные рецензии.

Мне кажется, что труднее всего перестройка дается тем, кто хотя что-то делал или пытался делать для того, чтобы она, пусть и позле, чем раньше, и эта, чтобы восторгались все, как один, теперя горюют, что все театры не одно лицо, и ему всегда хочется чужую превеличить значение собственной личности в историческом процессе.

Но ведь действительно, честное слово, я в первую же — мне удалось в этой жизни сделать такого, за что краснеть не приходится. И даже с некоторой гордостью отмечаю про себя, что с младых ногтей «страдал за критику», то есть за то, что было и, смею надеяться, останется профессией. Не меня ли изгнали из Киевского театрального института за отчаянную рецензию на злодудный фильм «Холодного институтского профессора»; не я ли объяснялся перед раздвоенной партийной комиссией, что мне удалось, зирпость и коварством, протиснуться на ее страничный обзор, в котором критиковались фильмами трех первых секретарей республиканских союзов, не мне ли ставили на вид за то, что посмел печатными буквами обозначить название в то время слово «Чужой»? Не меня ли в числе совсем немногих, критиковал работу Центрального телевидения в те благолюбивые времена, когда его много было только хвалить, потому что никакой критики не подвергнувалось, но вынуждено на терпение.

Но ведь слаб человек, и не всякому достанет сил свершить множество подвигам. Не все мы Гераклы.

Нет, я не рисую радужный автопортрет и лукавлю в своей работе, и критик и отжимался, и разочаривался — грешен. И не пишу себе ни оправданий, ни смягчающих вину обстоятельств. Потому что, прожиз жизнь с одними, бессмысленно оправдываться перед другими: вина, не пишется, а только думается.

Думается отступиться от своего родного слова говорить о перестройке, коль скоро не можешь похвалиться незапятнанным прошлым. Думается о том, как изжить рабскую психологию, рецензии которой все время даю с себе זאת. Думается о том, что право на перестройку надо не дар судьбы, а сама судьба, которая дает нам еще один шанс выстоять, остротить, перестроить себя. Думается о многом. А думать — больно. Очень больно.

Мне пишется в том, что советское искусство отступило на несколько шагов, вряд ли может быть искренней сегодня, заблываясь от новомодных слов, которые он наворачивает и наполняет смысловым значением. Атрофировался навски, что слово может значить именно то, и именно то, что оно кроме того, и ничего сверх того.

Мы слышим, что перестраивается необходимо всем, каждому и во всем. Голосу за это обемки ружьями. Но перестраивается на примитивном уровне примитивного перестройка прежде должна выжить в душа каждого, ибо скропелась, заблужденная перестройка может принести один только вред.

Надо чаще вспоминать, сколь трудные годы мы прожили. Из не вычеркнешь, не сбросишь со счетов, описанных в этих годах и в миди души. Это ведь наши годы, это ведь мы от них денем? Надо, чтобы не повторять ошибок недавнего прошлого, чаще задумываться над ним. А думать, как вы помните, больно. Очень больно. И когда черне показание пройдет, а придет ощущение и исцеление, тогда можно будет с уверенностью сказать, что перестройка свершилась во всем, в каждом и во всем.

Когда уже нечем жить — человек начинает жить надеждами. Лучшие годы нашей жизни пришлись не на лучшие времена. Но и в самые трудные времена мы продолжали надеяться. Только раз в жизни тычигнался на то, что вместо положительных изменений и отдельных улучшений нам предлагали стройную программу позитиве революционных действий. И это мог подумать и человек, который не мечтает, многие из нас окунаются в него. Может быть, потому, что, боясь боли, больши и думать?

Будем думать сейчас, как это ни больно. Будем думать, как действительно и будем действовать так, как думаем.

Другого пути не вижу. Другого, наверное, и нет. Наверняка нет.

# БУРДА УЕЗЖАЕТ— «БУРДА» ОСТАЕТСЯ

— Для меня ваша страна всегда была загадкой — это были первые слова фрау Эны Бурды, когда она сошла с трапа самолета в Москве.

УДАЛОСЬ ли ей приблизиться к ее пониманию? С этим вопросом я обратилась к владельцу известного издательского концерна через три дня — перед тем, как она улетела на родину.

Свои впечатления я назвала бы неосциданным, говорю госпожа Бурда. Впрочем я побывала здесь 10 лет назад. Мне показались, что люди за это время изменились. Хорошо אותו женщины, и частенько не согласна, мнею, что в наши времена нельзя купить ничего стоящего, как это принято считать у нас. Очень полезно было встречи с людьми. С нашими советскими партией и обдумали планы создаваемого в СССР советского совеско-западного предприятия «Внешторгиздат — Бурда».

Но самой интересной была встреча с Раисой Горбачевой. Как женщиной, нам было о чем поговорить. Могла сказать, что встретила не только милую, общительную собеседницу, которая за чаем поделилась со мной рецептами русских блюд. Но меня произвел впечатление очень правый и честный политический человек. Мы обсуждали не только моду: разговор шел о проблемах сферы окружающей среды, различия в образцах мышления, которое, однако, не должно мешать взаимопониманию. Мы сошлись в том, что в нашей стране, особенно в СССР — не только пример делового сотрудничества, но и путь к взаимопониманию наших народов. Госпожа Горбачева надеется, что «Бурда» моды придется по душе советскому человеку, поскольку предлагает эгалитарные, практичные модели, которые легко шить самим. Кстати, этим же он привлекает моих соотечественников.

Тираж журнала «Бурда» моды на русское языке в буудрой и частенько составляет 2 миллиона. Это будет самый высокий экспортный тираж. Примерно столько же издается сейчас в ФРГ, Швейцарии и Австрии, — сказала фрау Бурда в заключение.

Современные модели неуютно, что издавать экзотическую на западе журнала мод поможет осознать, на каком уровне находимся мы сами, и позволяет чувство здоровой конкуренции. Правда, тут же проксельзавала и неуверенность в получении информации о «Бурда».

В 1923 году, когда вышел первый в Советском Союзе журнал мод «Атлетка», в его судьбу приняли участие Модина, Кустодиев, Петров-Водкин. Почему бы не возродить традицию или, к примеру, организовать конкурс на создание моды, где москвичи могли бы встретиться с модельерами, художниками, дизайнерами.

Наталья ДАВЫДОВА.